Это событие, как потом по памяти восстановили очевидцы, произошло восьмого сентября в день Натальи Овсяницы, после обеда, в три двадцать две пополудни. Именно в эту минуту Роман Самуилович буквально выскочил из своего кабинета в приемную и в величайшем гневе прокричал Елизавете Второй:

— …, сколько же можно!

После этого он громко хлопнул дверью и, по всей видимости, вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Сразу во избежание разных сплетен и кривотолков хотел бы пояснить, что сокровенное альбионистое имечко носила секретарша; точнее — *секретарь*, как строго она напоминала легкомысленным и недоверчивым подругам, аргументируя эту принципиальность соответствующей записью в трудовой книжке и ссылкой на регламент трудового дня, каковой не предусматривал никаких романтических уз с руководством.

Кстати говоря, другими эти отношения и не могли быть, поскольку Роман Самуилович был человеком крайне положительным, скромным и пожилым, начисто лишенным иных душевных поползновений, кроме любви к своей работе.

Впрочем, позвольте уж по старинке называть *секретаря* секретаршей, тем более что помню я Лизку с пеленок, и она наверняка снисходительно отнесется к подобным причудам. А если особо строгих и дотошных читательниц не устроит такое простое объяснение, спишите все на природную бестолковость рассказчика, внешним видом и умственным складом напоминающего спойманного птицеловом певчего дрозда, запутавшегося в силках родов, падежей, времен, а также здравых и не очень смыслов…

Итак, о Елизавете. Помимо Второй существовала, разумеется, и Первая. Ею заочно именовали супругу Романа Самуиловича, которая как раз обладала королевской статью и имперским мышлением, проецировавшимся не только на обустройство семейной жизни, но и на весь трудовой коллектив, которым руководил ее муж.

Как вы уже, наверное, догадались, Роман Самуилович был большим начальником в одном солидном учреждении. Каком?.. Одном… Конечно, не хотелось его называть во всеуслышание… Ну ладно, так и быть, скажу, чего скрывать, люди здесь вроде все свои… Руководил Роман Самуилович строительным трестом, да-да, нашим уездным строительным трестом, что всю жизнь был на Садовой улице. И испокон веков, казалось, бессменный Роман Самуилович им и рулил с девяти до шести назло всем ветрам перемен, о которых вещали наимудрейшие восточные книжники и пела Мэри Поппинс в известном фильме.

Надобно сказать, что и Елизавета далеко не первый год занимала секретарское кресло. Поначалу, конечно, ей было трудновато: на новом месте многое казалось странным и диковинным. Ну, например, настенные часы, которые во всех кабинетах показывали разное время, и сколько бы их ни приводили к единому знаменателю, транслируемому местной радиоточкой, они или сразу убегали вперед, или, наоборот, лениво задремывали… Еще — паутина в углах, появлявшаяся на следующий день после уборки, как будто пауки тоже служили и у них был план, который нужно выполнить, а лучше — перевыполнить. Имелись странности и более загадочные, способные огорошить даже кандидата физико-математических или, скажем, мистико-энигматических наук. О них рассказ впереди… Рассказ, конечно, о странностях, не о кандидатах же.

Нет, не все нелепицы носили сомнительный характер, были среди них и, прямо скажем, приятные. Например, казенный бесплатный кофе с сахаром в приемной почему-то оказался намного вкуснее и слаще домашнего. Или надбавка к жалованью за особо тяжелые условия строительного труда, которая распространялась и на Елизавету, несмотря на то, что она никогда не держала в руках ни одного кирпича и даже не разогревала собственным дыханием раствор, замерзающий на январском ветру.

Но в последнее время все эти лакомые и не очень странности отошли на второй план перед новой напастью: начальник треста Роман Самуилович словно сорвался с цепи. Вначале он при всех неожиданно заявил на планерке у генерал-губернатора, что вместо сушилки для попкорна нужно строить, наоборот, плавательный бассейн. Затем разорвал в клочья проект жилого комплекса «Эйфель», украшением которого должна была стать башня на целых полтора метра выше парижской. И вот теперь выкинул нечто такое, чему пока не находилось объяснения.

Красная от смущения Елизавета (естественно, Вторая) оглядела ожидавших приема подрядчиков и субподрядчиков, инвесторов, просителей и ходоков, отметив при этом их ошеломленный вид, после чего, схватив для приличия целую охапку красных папок, зашла в кабинет начальника.

Она вышла ровно через три четверти минуты все с теми же папками, но уже собранными в стопку, издалека напоминающую готовую развернуться в плясовом восторге гармонь-ливенку. Постояв минуту и как будто прислушиваясь к чему-то, секретарша с вежливой растерянностью поинтересовалась:

— Господа, скажите, пожалуйста, слышит ли кто-нибудь из вас такой звук, будто чайной ложечкой в стакане сахар размешивают?

Гомон в приемной стих, все прислушались, а потом заверили друг друга, что ничего такого нет и все тихо.

— Вот и я не слышу, — призналась Елизавета, — а Роману Самуиловичу этот шум работать мешает.

Неожиданно заговорил Яремской, бывший зубной врач, а ныне владелец частной клиники по ремонту коренных. В приемную его привело желание обсудить вопрос о том, как безболезненно — то есть, выражаясь стоматологически, с каким размером анестезии — можно надстроить три этажа в одноэтажном купеческом особняке, который занимала его мастерская.

— Это лампочка! — уверенно рубанул он рукой воздух. — Когда я работал в Тимохинской райбольнице, у нас там тоже такой случай был: скрипело что-то скрипело, мы уже и полы поменяли, и кровлю, а оказалось — лампочка!

— Да-да! — нестройно поддержали его голоса присутствующих. — Вот и нам сейчас что-то эдакое послышалось...

Елизавета вызвала электрика со стремянкой, немного заробевшего от присутствующего уездного бомонда, но, впрочем, не переставшего от этого кряхтеть. Он вскарабкался наверх и вкрутил, как показалось, прямо в белоснежный подвесной потолок целый мешок свежих лампочек.

Все снова прислушались.

— Ну вот, все тихо! — удовлетворенно сказал Яремской. — Я же говорил, что...

Еще раз выслушать историю про этапы сельской электрификации собравшимся не позволил телефон на секретарском столе, зазвонивший с какой-то особенной нервозностью.

— Тише, господа, это Роман Самуилович! — объявила Елизавета, бережно сняла трубку, поднесла к уху, помолчала, поджала губы, а затем, прикрыв микрофон ладонью, объявила:

— Нет, это не лампочка. Опять ему какая-то чайная ложечка слышится!

— Это сверчок! — веско поставил новый диагноз Яремской. — У нас в Тимохинской больнице тоже такой случай был. Главврач все мне замечания делал: что это, мол, у тебя больные постоянно орут, ты их там пытаешь что ли?.. А это оказалось не пациенты — сверчок!

Поскольку Елизавета сразу по экстренному вызову стала ожидать отравителей из санэпидстанции, посетители начали потихоньку расходиться.

Последние из них столкнулись на выходе с людьми в белых балахонах и респираторах, которые с великой целеустремленностью даже еще не зайдя в здание принялись прыскать вокруг себя чем-то противно-горько-кислым: таким особенным средством навроде смеси нашатыря с уксусом, от которого из треста сразу сбежали не только мыши, тараканы и сверчки, но и все сотрудники за исключением Романа Самуиловича, который в работе не придавал значения таким пустякам.

Наутро о странных звуках знал весь стройтрест. Более того, некоторые проницательные завсегдатаи курилки сочли их предвестием несчастий и даже связали с ночным происшествием: взломом сарая и похищением всех прошлогодних солений у Пискуновой из отдела кирпичной кладки.

Пришедшая спозаранку на казенную службу Елизавета проветрила приемную, села за стол и в ожидании Романа Самуиловича прислушалась. Иногда ей казалось, что все тихо, затем вдруг слышалась чайная ложечка, а перед самым его появлением почудился дальний удар в рельсу, каковым во время барщины созывают на обед свекловичниц с дальних полей…

Обычно приход руководства напоминал явление коронованной особы: за начальником треста от самого входа следовал кортеж визитеров, старающихся удержать в руках листы прошений и жалоб, трепыхающихся от ветра, создаваемого королевской мантией.

Так было и сегодня. Однако вопреки обыкновению Роман Самуилович не прошел решительным шагом к трону, а остановился посреди приемной залы, огляделся, как показалось, с некоторым удивлением, будто находился здесь впервые, затем поставил на пол портфель и негодующе, но безмолвно потряс в воздухе руками.

— Ложечка?! — догадалась Елизавета.

Роман Самуилович кивнул, взял портфель и прошествовал к себе. Просители чинно расселись по стульям, разгладили бумаги и в ожидании начала аудиенции вперили взгляд в секретаршу — казалось, на глазах превращавшуюся в усатого телеведущего, который в замечательных традициях спиритизма и столоверчения, прозрев вердикт Кассандры, одних гостей отправляет восвояси, а других награждает радостным возгласом: «Приз — в студию!»

Однако сейчас Елизавету заботила не очередность приема, обычно виртуозно выстраиваемая ею согласно провинциальному табелю о рангах, а злосчастная чайная ложечка.

Земский доктор Яремской попытался предложить новую версию таинственного звона, уходящую корнями к его стародавнему сельскому опыту, но был поднят на смех Корнеем.

Каковы фамилия и отчество последнего, никто толком не знал, да и в отношении подлинности имени также существовали сомнения. Тем не менее, все в городе знали и звали его именно так: Корней. Место его в социальной пирамиде также было непонятно, поскольку не являлся он ни рабочим, ни колхозником, ни помещиком, ни мещанином. Внешне Корней более всего походил на лихоимца с большой дороги, однако имел крупную негоцию в виде киоска с круглосуточным режимом работы. А с недавнего времени стал он захаживать в приемную начальника стройтреста, ибо захотелось ему выведать у Романа Самуиловича секрет волшебного заклинания, благодаря которому его ларек превратился бы в двухэтажный торговый центр с подземной парковкой.

— Хватит, врачелло, пурген нести! — веско сказал Корней доктору. — Утко-горло-нос, блин, нашелся. Ты чо, не понимаешь: у командира за той стенкой кто-то звенит, какой-то…

Корней стал мучительно конструировать слово, обязательно заканчивающееся на *…звон*, но не найдя ничего печатного, ловко вывернулся:

— …какой-то звонарь.

Елизавета точно знала, что за стеной кабинета начальника никто зву-

ков издавать не может, поскольку там была избушка Бабы-яги, то есть каморка уборщицы Бабы Нюры.

...Согласен, согласен, господа, место самое неподходящее! Я скажу больше: однажды Роман Самуилович по рассеянности перепутал двери, зашел в каморку как в свой кабинет и стал растерянно оглядываться: где же его огромный стол, макеты построенных им небоскребов, а самое главное — сохраняемый с незапамятных времен подарок от столичного департамента — знамя из малинового плюша с золотою бахромою...

После этого события Бабу Нюру даже хотели переместить куда-нибудь ближе к погребу. Однако несмотря на привлекательную возможность максимальной близости к руководящему нектару, бьющему живительным ключом в соседнем кабинете начальника треста, никто не только из заместителей Романа Самуиловича, но и из чернорабочих не захотел по доброй воле обитать в каморке даже при условии зачета одного дня пребывания в нем за три.

Являясь на просмотр недвижимости, потенциальные жильцы вначале неприятно удивлялись тому, что в каморке нет окон, а затем, пытаясь выйти, обнаруживали исчезновение дверей. Некоторые потом вспоминали, что видели там щетку из человеческих волос, причем с одним глазом на ручке. Других поражал наитишайший вентилятор на потолке из кружащихся летучих мышей. Особо любопытные были впечатлены надписями на коробочках сантехнических средств: вместо какого-нибудь «Чистопола» или «Санфаянса» там значились «Почечные камни», «Октябрятские сопли» и «Жабий потрох».

Елизавета, разумеется, имела представление о сокровенной сути каморки Бабы Нюры. Тем не менее в сопровождении Корнея и любопытствующего доктора Яремского она направилась туда, внутренне оправдывая себя тем, что хочет просто убедиться в своих ожиданиях. Они, кстати, ее не обманули: ничего неожиданного за дверью, предусмотрительно оставленной открытой, не обнаружилось.

Корней, увидев через порог этот пейзаж (или натюрморт?.. Одним словом — композицию), нахмурился. А Яремской, сделав умильное лицо, не преминул съязвить:

— Ну, Корней, прямо ассортимент в твоем ларьке... А вот ложкозвона что-то не видно...

Тот в ответ насупился и даже гневно сверкнул взором, но слов для парирования своевременно не обнаружил, а когда они нашлись, ни наглого докторишки, ни секретарши рядом уже не было, да и его длительное пребывание перед комнатушкой уборщицы приобретало характер комического скетча. Поэтому Корней в приемную не возвратился, а пошел прямиком в свой ларек, снял с витрины бутылку водки с витиеватой нерусской надписью и прямо здесь же вдрызг напился.

Весь день и последовавшую за ним ночь Елизавета промучилась, размышляя о причинах звона. А ранним утром, с первой, еще не совсем проснувшейся лошадью, едва тащившей конку, она явилась в трест и, не заходя в приемную, пошла искать Бабу Нюру.

Однако в уже известной читателю каморке она обнаружила отнюдь не уборщицу, а столоначальника Долгушина из сантехнического отдела. Более того, она фактически застала его с поличным — сидящим на перевернутой вверх дном банной шайке во время деликатной мужской процедуры: перед собой на покатой крышке сундука Долгушин ухитрился поместить чашу с пеной, стакан чаю и прислоненный к нему об-

ломок зеркала, а сам, скрючившись, брился, причем обломанной шпагой!

Удивленная Елизавета, естественно, поинтересовалась причиною гигиенических манипуляций не в парикмахерской, не в цирюльне — и даже, в крайнем случае, не в своей ванной комнате, устройство которой должно быть хорошо знакомо столоначальнику, приписанному к сантехническому ведомству, — а здесь, в официальном учреждении, деятельность которого освящена инструкциями, регламентами и казенными стандартами, определяющими, между прочим, все мироустройство начиная с размеров верхних полей и заканчивая... заканчивая... Да ничем не заканчивая, поскольку безграничен окоем знаний и безрассудства, именуемый горизонтом, и даже в самых смелых догадках нельзя предположить, какие новые высочайшие разъяснения о правилах доселе хаотичного времяпровождения населения вскоре могут поступить...

Кстати, прошу обратить внимание: когда рассказчик упоминал про верхние поля, он имел в виду отнюдь не те бескрайние ковыльные просторы, что начинаются за северной заставой нашего уездного городка...

Однако пора вернуться в трест, к столоначальнику, замершему с одной намыленной щекой от внезапного явления постороннего лица, вдвойне — женщины, втройне — секретарши самого Романа Самуиловича. Сбросив оцепенение, Долгушин неожиданно даже для самого себя приступил к намыливанию второй щеки, одновременно поучающим тоном и не без резона витийствуя о том, что в столь ранний час спят не только парикмахеры, цирюльники и брадобреи, но и благонадежные работники треста должны во сне готовиться к напряженному трудовому дню, а в собственную ванную комнату он попасть не может по простой и убедительной причине.

— Из дома жена выгнала, — признался Долгушин и тут же уточнил: — Вернее, я сам ушел... Вот Баба Нюра здесь приютила... Но сегодня — последняя ночь, честное слово! Слава Богу, нашел подходящую фатеру в меблированных комнатах. Да не переживайте вы так: не я первый, не я последний...

— А вот чай в антисанитарных условиях не пьют! — единственно что нашлась сказать ему в ответ одновременно растерянная и раздраженная Елизавета, а затем, предупреждая бесполезное пустословие оправданий, строго добавила: — И ложками не звенят!

Затем, догадавшись, что женщине в столь ранний час неприлично находиться в комнате у одинокого мужчины, тем более — хоть и частично — намыленного, она слегка покраснела, повернулась, хлопнула дверью и отправилась искать Бабу Нюру.

Та, судя по доносящимся звукам, где-то в топях и чащобах лесных урочищ сражалась с шайкой разбойников — то есть, ругаясь на нерях-чиновников, ленивое орудие труда и весь белый свет, заставляла глазастую щетку выметать из их кабинетов пепел курительных трубок, испитую чайную заварку, голубиный помет и обломки сургучных печатей.

«Нет, ложечкой Долгушин звенеть не мог, — решила про себя Елизавета. — Он ведь только ночью там обитал. Интересно, на что это он намекал, когда говорил, мол, не первый он и не последний? Неужели на мое второе неудачное замужество? Так ведь я в каморке у Бабы Нюры тогда не ночевала... Или эта поломойка возомнила себя ночным портье и отель здесь устроила?»

Уборщица, увидев в конце коридора секретаршу, первым делом под-

хватила самостоятельно елозившую по полу щетку, предусмотрительно прикрыв ладонью ее единственный карий глаз, а затем по-былинному начала вещать:

— Что же ты, Елизаветушка-свет-Тимофеевна, себя не жалеешь, ни свет ни заря дела пытаешь, а от безделья лытаешь?

Та огорошила ее ответом:

— Я только что с ресепшена!

Велеречивый напев вмиг прекратился.

— Ну пустила я жильца за полтину серебром, подумаешь! — насупилась Баба Нюра. — И что теперь?! Квартального вызывать будешь? Ну, давай-давай, кличь! А я ему расскажу, кто тут сколько ворует! Вагонами тащщут! И шифер, и дранку, и мох сушеный. А ты для бабки рубля пожалела… Эх, а еще свет-Тимофеевна…

— Он у тебя ложкою звенит, а за стеной Роман Самуилович от этого мучается! — уже почти оправдывалась Елизавета.

— Да отчего ему, бездомному, звенеть? Сроду такого не было! Он утречком пораньше бритвочкой кадык поскребет, волосики причешет, чайку похлебает — и на работу, по колидорке направо, там весь день и сидит.

— А кто же тогда целый день у тебя чай пьет? — не сдавалась Елизавета. — Может, ты сама?!

— Какой чай?! — уборщица чуть не задохнулась от возмущения. — Индейского и двух золотников чичас не укупишь на мое жалованье, а плакун-травы я в нонешнем лете и не насушила…

Елизавета задумалась вслух:

— Интересно, кто же у нас в тресте больше всего ложечкою звенит?.. То есть, кто больше всего чаю пьет?

Баба Нюра помолчала, повертела головой, будто разглядывая мышей по углам, а потом радостно сообщила:

— Да кто же еще?! Счетовод наш, Тарарашкин! Даже стакан свой не моет! Он у него чернющий весь, будто изнутри гуталином намазанный! Я ему говорю: пошел бы, вымыл свой стакан, а он в ответ лишь лыбится: зачем, мол, его мыть, все равно туда чайный кипяток наливаю.

— Стакан не моет, говоришь… — нахмурилась секретарша. — И где он сидит, этот Тормашкин?

— Тарарашкин? Вот прямо над директором, над Романом Самуиловичем!

— Ах вот оно что! — сжав губы, чтобы не расхохотаться, Елизавета с победным видом прошествовала к себе, причем входную дверь распахнула пошире, чтобы видеть проходящих мимо сотрудников и вовремя выудить в потоке злосчастного счетовода — литаврщика, неряху и пустобреха.

Будто санки с горки, накатывал рабочий день. Елизавета невольно слышала обрывки разговоров проходящих мимо кабинета чиновников. Заботы у людей, в основном, были самые простые: цены на антоновку, замена белых грибов сыроежками в потребительском лукошке, а также мелкие и крупные проказы детей разного возраста.

Но, что удивительно, самые интересные высказывания относились к пресловутому звону чайной ложечки, который уже обрел форму зловещего знамения, и именно с ним работники связывали последние громкие события, как то: неожиданный побег старшей дочери городничего с гусарским офицером, кражу серебряного подноса для визитных карточек прямо из лап чучела медведя в дворянском собрании, таинственное исчез-

новение всех лягушек из пруда усадьбы капитан-исправника, а также появившуюся утром надпись мелом на постаменте памятника Первому Императору: «Царь-батюшка, открой глазки, выдай кой-кому салазки!»

А вот и виновник всех губернских беспокойств — счетовод Тарарашкин собственною персоной! Идет как-то подозрительно, будто крадется, странный кулек несет, и глаза у него бегают, и руки дрожат!

— Эге, товарищ Тарабашкин, подите-ка сюда! — позвала секретарша, прикрыла за ним дверь. Прищурилась. Выбросила руку, ткнув прямо в лицо указательным пальцем, да так неожиданно для счетовода, что длинный алый наманикюренный ноготь вершка не достал до его переносицы:

— Это вы!

— Что — я? То есть — кто, я? — залепетал Тарарашкин.

— Не надо юлить! У меня свидетели есть! Баба Нюра-яга во всем призналась! Что это вы здесь буяните, людям покоя не даете!

Бухгалтер, не понимая, в чем дело, замахал лапками:

— Что вы! Как я могу!

— Прекратите этот спектакль, он всем здесь изрядно надоел! — с усталостью и презрением изрекла Елизавета. — Что у вас в мешке?! Живо предъявляйте!

Ага, затрясся бухгалтер, залепетал:

— Это сахарок, сахарок, Елизавета Тимофеевна…

— Вот и улика!.. Ого сколько! Да здесь фунта два будет! Ну-тка, признавайтесь, Трататашкин, зачем вам столько?!

— Я — Тарарашкин …

— Это вопрос несущественный и к содеянному вами отношения не имеет, — отмахнулась Елизавета. — Даже не пытайтесь ввести субъект моего дознания в свое заблуждение, я все знаю! Итак, повторяю свой вопрос: для чего вам столько сахара?

— Чай пить…

— Наконец-то, признался! — с облегчением вздохнула секретарша. — Так это, оказывается, вы здесь чай пьете?!.. Не увиливайте, не увиливайте! Вы даже стакан свой мыть не успеваете! Видите: я все знаю! А ежели чай целыми днями гоняете, значит, и ложечкой сахар мешаете! И трезвоните тут целыми днями!

— Сахар мешаю, — признался Тарарашкин. — Но потихонечку!

— Не сметь! Не сметь! — не выдержав, завопила Елизавета. — Не сметь ложечкой звенеть!.. Нет, этого так оставлять нельзя!

Далее Елизавета, продолжая рассуждать о подорванном доверии не только к коллективу, но и к самому смыслу ведения добропорядочного образа жизни, предписываемому Уложением царя Алексея Михайловича и Моральным кодексом строителя коммунизма, отправила счетовода на рабочее место и сама последовала за ним. Разоблаченный враг треста — да что там треста, всей губернии — шел понуро, опустив плечи, предчувствуя неизбежный эшафот.

В кабинете у Тарарашкина секретарша увидела знаменитый, вороной масти, насквозь просмоленный чайной заваркой стакан, брезгливо двумя пальцами подхватила из него не серебряную и даже не мельхиоровую, а простую никелированную чайную ложечку, завернула ее в лист писчей бумаги и строго объявила:

— Отдам, когда научитесь сахар размешивать!

— А как же мне быть? Что делать? — продолжал пребывать в печальной растерянности счетовод.

— Что делать? — Елизавета задумалась и словами известной пословицы изложила свои жизненные принципы: — Бежать так, чтобы слепого не обогнать, да кричать не громче немого!

Немного успокоившись и даже поправив прическу перед удивительным общественным зеркалом в коридоре, которое всех смотрящихся в него превращало в писаных красавиц и атлетов, секретарша возвратилась в приемную, где уже, словно пчелы на профсоюзном собрании в улье, жужжали посетители. Их разговоры являлись продолжением утренних сплетен.

О таинственных звуках чайной ложечки узнал весь город, и с ними уже связывали глобальные несчастья навроде массового явления кротов на дачных участках, столкновения двух трамваев, не поделивших перекресток, или прорыва городского чугунного водопровода, исправно работавшего еще со времен царя-миротворца.

Вдобавок ко всем злоключениям Роман Самуилович сегодня опоздал на службу, поскольку утром попал в аварию: водитель его служебного автомобиля перепутал газ с тормозом и въехал в филейную часть оранжево-веселой поливочной машины. Оставив водителя у разбитого корыта, Роман Самуилович пересел в кабину автоцистерны, у которой, кстати, не оказалось ни одной царапины, и, орошая по пути городские улицы, прибыл в трест только в десятом часу.

Видимо, продолжая пребывать во взволнованном состоянии, Роман Самуилович по прибытии громогласно послал к чертям все согласованные графики летучек, планерок, совещаний и приемов, а вместо этого велел позвать с улицы калик перехожих и стал угощать их кофием и печатными пряниками, а затем велел им петь напевы про Еруслана Лазаревича, Бову Королевича, Ставра Годиновича и их путешествия за реку Потудань и обратно.

Эти неожиданные посиделки могли бы продолжаться до вечера, если бы перед самым обедом в приемной не объявилась Елизавета Первая, то есть Елизавета Иннокентьевна, до которой наконец-то дошли вести об утреннем происшествии с мужем. Несмотря на выпитый для успокоения лафитник настойки на валериановом корне, Елизавета Иннокентьевна пребывала в состоянии нервном и одухотворенном.

Ворвавшись в приемную, она первым делом обругала водителя, которого обозвала бестолочью, пьяницей и штукарем, пообещала, что отныне тот кроме водовозной кобылы больше никаким транспортом управлять не будет.

Затем она выпроводила калик, впрочем, не забыв одарить их на прощание монетами, среди которых даже была одна коллекционная — в честь юбилея Пелымского острога.

С мужем, Романом Самуиловичем, она пообещала более основательно поговорить дома, накоротке лишь выразила ему крайнее недовольство неважнецкой работой с кадрами, имея в виду все того же беднягу-водителя, по совместительству — собутыльника, которого давно пора надобно прогнать взашей. Кроме того, Елизавету Иннокентьевну расстроило вызывающее манкирование служебными обязанностями, да еще и в присутствии посторонних людей, основным времяпровождением которых является распространение в народе разных баек, сплетен и небылиц.

Затем дошла очередь и до секретарши.

— Что это здесь происходит?! — тоном, не предвещавшим ничего хорошего, произнесла Елизавета Иннокентьевна. — Роман Самуилович но-

чей не спит, из-за какой-то ложечки переживает, чуть из-за этого живота сегодня не лишился!

Елизавета Вторая, преодолевая трепет, смешанный с брезгливостью, полезла в ящик стола, достала завернутую в лист бумаги чумазую чайную мешалку Тарарашкина и торжественно ее предъявила:

— Я все уже исправила, вот эта самая ложка! Именно ею счетовод Тарарашкин над потолком начальника и звенел!

Супруга Романа Самуиловича вспыхнула, словно овин от удара молнии:

— Да как же, голубушка моя, ты все исправила, когда я сейчас этот звон слышу!

Секретарша покачнулась, у нее самой в голове гулко забухало нечто навроде набата.

— Ну-ка, идем посмотрим на твоего Таракашкина! — решила Елизавета Иннокентьевна.

Елизавета Вторая пошла вперед, показывая дорогу и борясь с накатившей дурнотой от одного только предположения, что сказала бы супруга Романа Самуиловича, если бы вдруг увидела столоначальника Долгушина в мыльной пене.

— Ну и где этот Таракашкин? Здесь?

Супруга Романа Самуиловича, не обременяя себя пустяшными мелочами навроде приватности, ведь она чувствовала себя в родном доме, изо всех сил дернула на себя дверь, мимоходом сорвав крючок. Внутри действительно находился Тарарашкин, правда, в согбенном положении. Он склонил седую голову на кипу прошнурованных бухгалтерских книг и сладко спал. Пряди его сивых волос, мурлыча, бережно и ласково расчесывал когтистой лапой невесть откуда взявшийся черный кот.

От внезапного грохота кот шмыгнул под стол, а счетовод подскочил, выпучил глаза да так и застыл в испуганном недоумении с полураскрытым зевом, смятым воротничком сорочки и объемным следом от витого бухгалтерского вервия на щеке, напоминающим зашитый наскоро через край шрам от сабельного удара.

Установившейся благолепной тишине, которой позавидовала бы даже сцена уездного театра трагедии и фарса, мешали лишь какие-то звуки, более всего похожие на отдаленный стрекот машинки «Зингер» или бубнение пономаря.

Все прислушались: Елизавета Первая — будто спаниель в ожидании вальдшнепа, секретарша — услужливо-растерянно, а Тарарашкин... Впрочем, счетоводом уже никто не интересовался: придурковатый вид его лучше всяких слов убеждал, что к этим звукам он никакого отношения не имеет.

Источник стрекочущего бубнения, а может, и бубнящего стрекотания, отыскался быстро — в соседнем кабинете, где, вальяжно развалившись в мягких креслах, со стаканами чая в руках, о чем-то беседовали заместители Романа Самуиловича: генеральный инженер, центральный механик и верховный экономист.

При появлении сразу двух Елизавет они отчего-то смутились и стали усиленно месить ложками чай, отчего пошел такой шум, как будто в кабинет ненароком заглянуло небольшое стадо буренок с колокольчиками на почтенных шеях.

Одна из Елизавет — та, которая секретарша — сразу догадалась, что сейчас пойдет разговор о делах, конечно, прелюбопытнейших, но секрет-

но-деликатного свойства, из разряда тех, про которые говорят: эх, жалею, что глухим не уродился, теперь, видать, придется уши вместе с головою отстегивать... Поэтому она приняла такой вид, будто опаздывает на свою последнюю, третью по счету свадьбу, и, удерживаясь, чтобы не перейти на рысь, ретировалась.

— Чайком балуетесь? — тем временем сурово констатировала супруга Романа Самуиловича, давно подозревавшая ближайшее окружение мужа в интригах, кознях и заговорах с целью низвержения начальника. — Ну-ну... А по какому поводу? Отмечаете счастливое спасение шефа в катастрофе? Интересно, кто ее мог подстроить?

— Да что вы, Елизавета Иннокентьевна! Мы все искренне переживаем за Романа Самуиловича... — примирительно сказал верховный экономист — человек масштабом мысли, поведением и даже внешностью старающийся походить на теньге-баши, то есть быть таким же сытым, гладким и довольным. В стеклах его очков, казалось, постоянно отражаются денежные знаки, причем самого крупного достоинства. Он не без демонстрации изящной усталости сделал небольшой глоток из стакана и продолжил:

— Хотя вы верно подметили... Неладное у нас в тресте что-то творится. Все это ложечка треклятая, понимаешь, звенит и звенит...

Тут же началось обсуждение, видимо, прерванное появлением двух Елизавет.

Центральный механик сразу высказал предположение, что звон исходит от расположенной неподалеку железнодорожной магистрали: мол, пассажиры чересчур интенсивно пьют чай и при этом стучат ложками о стаканы. Кажется, сгоряча даже принялись писать письмо начальнику железной дороги, но потом передумали, поскольку не смогли предложить ему ничего дельного.

Потом генеральный инженер выдвинул версию, что звон издает проходящий трамвай, но был поднят на смех, поскольку трамваев в нашем городе отродясь не водилось. От этого генеральный инженер смутился и стал оправдываться тем, что вдруг представилось ему, будто он в Ленинграде, где прошла вся его юность. Он даже хотел предложить спеть хором песню на музыку Соловьева-Седого «Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой», но потом застеснялся и промолчал.

Верховный экономист, понизив голос, поведал о том, что во время гражданской войны, находясь проездом в нашем уезде, в тресте один вечер заседал с непонятно откуда взявшимися в нашем сухопутном городе матросами самый главный «демон революции». Отправив на плаху полтора десятка человек, он расправил крыла и полетел дальше... А за несколько лет до того в том же здании народовольцы бросили бомбу прямо в раскрытое окошко кабинета какого-то тайного советника... А еще раньше здесь же, во дворе, свернула шею какая-то барыня, перепутавшая окошко верхнего этажа с дверью первого... И вообще, говорят, именно тут то ли разбойники, то ли верноподданные зарезали какого-то баскака — а может, обычного сборщика налогов, от чего по всей Руси пошла смута, но не исключено, что, наоборот, начался какой-то позитивный подъем самосознания...

Затем он, немного стесняясь, предложил тайком привести в трест батюшку из местной церкви, который бы окропил стены святой водой и изгнал-таки привидение. Но и это предложение было всеми отвергнуто. Во-первых, потому, что за такой фортель в губернском обкоме могли бы

обменять партбилеты приятного темно-карминового цвета на серо-бурые волчьи. А во-вторых, как с усмешкой предсказал центральный механик, священник прикажет снести здание, как только зайдет в каморку Бабы Нюры.

Его поддержал генеральный инженер, странно усмехнувшийся и невесть к чему заметивший:

— Это если еще его наш Соловей-разбойник со всей своей свитой встречать не выйдет...

Все в недоумении переглянулись, но сделали вид, что понимают, о чем идет речь.

Так ни к чему дельному и не пришли. И уже почти уходя, неожиданно для самой себя, едва не уронив слезу от безысходных предчувствий, не отдавая себе отчета в том, что творит, Елизавета Иннокентьевна автоматически взяла чей-то стакан с журнального столика, отхлебнула из него и поперхнулась: в нем оказался... коньяк!

Другая бы жена... Тьфу-тьфу-тьфу, жена другого бы начальника на ее месте стала бы кричать, грозить, топать ногами... А Елизавета Иннокентьевна лишь закашлялась, извинилась, что не в то горло попало, попросила постучать ее по спине, а потом изрекла:

— Ого! Крепок у вас чаек-то.... Вы, это... Сходили бы после работы в чайную, что ли, блинов поели. А то что же вы чай без закуски пьете. А в трактирах, говорят, еще и лимоны подают...

Трестовские вельможи удрученно кивали головами: да-да, мол, теперь только в чайной после работы...

— И вот еще что! — строго сказала им Елизавета Иннокентьевна на прощание. — Ложками в стаканах больше не звенеть!

После этого случая коньяк, разумеется, в тресте пить не перестали, просто двери начали крепче запирать. В процессе употребления ложками не звенели как раньше, так и теперь: кто же коньяк в стаканах ложками мешает?!

Что еще вспоминается из событий тех дней? Конечно, повальное сочувствие Роману Самуиловичу, небывалый рост самосознания масс, трудовой подъем, выразившиеся во всеобщем поиске источника звона. Ради спасения начальника коллектив достиг вершины самоотречения: по предложению месткома в порыве единодушного трудового энтузиазма даже закрыли на неделю трестовскую столовую, где, как в любом учреждении общепита, всегда слышен звон посуды (впрочем, как выяснилось впоследствии, эта жертва была бесполезной).

Но не все оказались в трудную минуту достойными своего руководства, нет не все... Нашлись в коллективе треста свои лицемеры и двурушники. Прежде всего, следует вспомнить и сразу же заклеймить Постромака из отдела первичной опалубки.

А ведь когда-то он был достойным членом общества, хорошим семьянином и рационализатором на почве экономного использования отходов! Вначале его наградили изобретательским ярлыком за предложение использовать сухие листья в качестве бесплатной замены валютных импортных утеплителей. Потом на губернской выставке ему прилюдно вручили медаль за идею замены дорогущих мраморных плит внешне неотличимым эрзацем, изготовленным методом длительного прессования лузги семечек.

Но все изменилось после того, как Постромак совершенно искренне отправил теперь уже на столичный конкурс новое рацпредложение: пе-

чатать распоряжения начальства на специальной бумаге — с клейким слоем на обороте, для того чтобы после минования надобности эти указания можно было бы использовать в качестве липкой приманки для мух.

Совершенно неожиданно для изобретателя эта инициативу расценили как вольнодумство, подрыв устоев и вообще — философическую диверсию. У него сразу отобрали и ярлык, и медаль, а затем стали подозревать в хранении «Колокола», «Полярной звезды», «Хроники текущих событий» и прочей актуальной, но запрещенной публицистики.

Так вот, рассказывали, что во время этих кризисных событий, когда все вокруг скорбели, Постромак прилюдно, да еще и с победным видом усиленно мешал ложкой в стакане, а когда у него поинтересовались причиной его радости, он во всеуслышание заявил, что, оказывается, сахара-то у него в стакане нет!.. Слава Богу, что коллектив треста оказался здоровым и не доложил об этом афронте Роману Самуиловичу, чтобы его не расстраивать, а то бы несдобровать этому крамольнику.

А другой смутьян, кунак Постромака — такой же тайный фрондер из подотдела фундаментальных отрытий, не помню уже как зовут, — так тот вообще установил звонок на мобильный телефон: будто чайная ложечка звенит...

У этой истории оказался ожидаемый конец с неожиданным для всех нас финалом.

Однажды прямо посреди рабочего дня в стене треста появилась огромная трещина, размером и очертаниями напоминающая знаменитое ущелье Инфьерно. И хотя этот разлом на следующий день заделали, произошедшее вызвало в уездных народных массах неприятное сравнение с сапожником, щеголяющим в худых башмаках, мельником, у которого разодрался мешок с мукой, и даже кузнецом, ударившим себе молотом по пальцу вместо наковальни.

О произошедшем узнали наверху, и Романа Самуиловича именным указом генерал-губернатора быстро отправили на заслуженный им пенсион.

На прощальном банкете он сидел с хмурым лицом и, не произнеся ни слова, слушал все закатно-величальные речи.

И только потом, когда на посошок принесли чай, кофе, разные каркаде и все стали дружно размешивать сахар, позвякивая ложками, Роман Самуилович неожиданно вскочил и завопил:

— Хватит! Прекратите! Я больше не могу!

После этого он схватил горячий стакан и, не обжигаясь, запулил им в стену, затем сдернул скатерть, пробарабанил кулаками дробь по голой столешнице и убежал на кухню. Там он спрятался под железный стол и категорически отказывался вылезать оттуда. Вначале его пытались уговорить, затем вытащить за полу пиджака и даже безуспешно поймать за лягающуюся ногу. В конце концов, дружно плюнули и вызвали полицию, скорую помощь и — на всякий случай — МЧС.

Спасатели, кстати, приехали первыми и даже достали ножовку по металлу, чтобы распилить стол, но на него лег главный повар, более погибели от стальных зубьев убоявшийся того, что платить за испорченное имущество придется ему. Затем явился полицейский наряд, и урядник начал листать какую-то потрепанную книженцию навроде административного кодекса, пытаясь найти в нем что-нибудь про нарушителя, прячущегося под железным столом.

Наконец явились врачи, которые, выяснив суть жалоб, смогли-таки

выманить Романа Самуиловича из убежища, пообещав ему, что увезут его в такое место, где нет ни ложечек, ни стаканов, ни даже ножей и вилок.

Роман Самуилович сначала поддался на уговоры, но быстро догадался, что его хотят обмануть, и отважно вступил в схватку с превосходящим числом противником, проявив при этом недюжинную силу и скрываемые до сей поры навыки бойца без правил, а также знание всех известных человечеству проклятий. Тем не менее его, хоть и не без труда, обняли, связали, утихомирили уколом чудодейственного заморского снадобья, положили в машину и увезли по направлению к известной фабрике умиротворения.

То ли в апреле, то ли в мае — одним словом, примерно к лету Роман Самуилович пришел в себя и был возвращен домой, в свой коттедж на речном берегу.

Некоторое время назад человеколюбивые и сострадательные коллеги, в число которых входил и ваш покорный слуга, решили его навестить, взяв с собой в качестве подарка большую парадно-прощальную фотографию в золоченой раме, на которой запечатлен весь наш трест во главе с Романом Самуиловичем, а также тортик к чаю.

Вот только, увидев этот тортик, Елизавета Иннокентьевна переменилась в лице и захлопнула дверь перед самым нашим носом. Потом, правда, смилостивилась: фотографию все-таки забрала, наверное, из-за роскошной рамы, а нас с тортом отправила восвояси.

А вскоре в освободившемся кабинете появился новый начальник треста — точнее, начальница: из губернии была откомандирована чиновница по особым строительным поручениям — молодая, с распущенными рыжими волосами, серьезная и неулыбчивая, похожая на Аленушку с известной картины художника Васнецова.

Сам я также вскоре решил от греха подальше уйти в отставку. Иногда захожу на старую службу, теперь уже в новоотстроенные стеклянно-бетонно-песочные палаты, выросшие на месте старой постройки… Стройка началась уже при новом руководстве, после того как пришедшие на работу после новогодних праздников сотрудники вместо здания увидели пустырь, от которого по белому полю вдаль уходили следы куриных ног. Двое ухарей-удальцов, сгоряча пустившихся по следу, обратно не вернулись, после чего в губернии, посовещавшись, решили, что проще будет построить новый трест, чем разыскивать старый.

Елизавета Вторая по старой дружбе иногда угощает меня казенным кофе. У нее все в порядке, новая начальница ее жалует. Правда, как сказала она по секрету, что-то в последнее время тревожат их обеих одинаковые женские проблемы: на ногах стала рыбья чешуя появляться.

В новой приемной все так же иногда дребезжит ложечка, просто теперь на это никто не обращает внимания. И только когда звон становится особенно громким и назойливым, Лизавета говорит:

— Приятного аппетита, Соловей Одихмантьевич!

И звуки стихают…